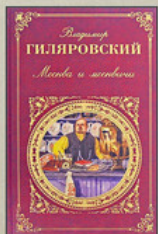


Владимир Гиляровский

# Антоша Чехонте



Часть сборника  
*Москва и москвичи (сборник)*



# Владимир Алексеевич Гиляровский

## Антоша Чехонте

### Серия «Друзья и встречи»

*Издательский текст*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=172951](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172951)*

*Москва и москвичи: Эксмо; М.; 2008*

*ISBN 978-5-699-11515-0*

### **Аннотация**

Известный московский журналист, писатель, вступивший в мир литературы вместе с А.П.Чеховым, поэт «некрасовского строя лиры», В.А.Гиляровский (1853-1935) более всего прославился среди современников как знаток и бытописец Москвы. «Дядя Гиляй», как любовно окрестил друга А.П.Чехов, знал родной город наизусть, изъездил его вдоль и поперек. И его знали и любили москвичи (и не только москвичи) всех сословий, его статьями зачитывались, к его мнению прислушивались.

# Содержание

# Владимир Гиляровский

## Антоша Чехонте

О встречах в моей юности я начал писать через десятки лет. Они ярко встали передо мной только издали. Фигуры в этих встречах бывали крупные, вблизи их разглядеть было нелегко; да и водоворот жизни, в котором я тогда крутился, не давал, собственно, возможности рассмотреть ни крупного, ни мелкого.

В те времена героями моими были морской волк Китаев и разбойничий атаман Репка. Да и в своей среде они выделялись, были тоже героями. Вот почему и писать о них было легко.

Не то – Чехов. О нем мне писать не легко. Он вырос передо мной только в тот день, когда я получил поразившую меня телеграмму о его смерти и тотчас же весь отдался воспоминаниям о нем.

Познакомился я с ним, когда он был сотрудником мелкой прессы, строчившим ради заработка маленькие этюдики и разбрасывавшим их по мелким изданиям. Мы вместе с ним начинали в этих изданиях – он писал сценки, я – стишки и тоже сценки да еще репортерствовал, что давало мне в те времена больше, чем его рассказы, мало заметные первое

время.

Сперва у нас были мимолетные встречи, а потом началась дружба. Я полюбил Антошу, и он меня любил до конца жизни, хотя последнее время мы и отдалились друг от друга.

В те годы, когда он еще ограничивался мелкими сценками, еще до издания его книжки «Сказки Мельпомены», я уже занял в «Русских ведомостях» солидное положение и, кроме репортажа, печатал статьи и фельетоны.

«Русские ведомости» считались «большой прессой», и Чехов появился в этой газете только в 1893 году, после того как печатался в 1892 году в «Русской мысли» и в 1888 году в «Северном вестнике», где была помещена его «Степь», которая произвела на меня огромное впечатление. И впоследствии этот рассказ был у нас с ним одной из любимых тем для разговоров. А до «Степи» он был для меня только милым Антошей Чехонте, рассказов которого, разбросанных по газетам и журналам, я почти и не читал, – в кипучей репортерской жизни не до чтения было, да и не все газеты и журналы попадали мне в руки.

«Сказки Мельпомены» и подаренные им мне «Пестрые рассказы» меня не заинтересовали, все это было так знакомо и казалось мелочью.

Первое, что осталось у меня в памяти, – это «Каштанка», да и то тут была особая причина.

Как– то раз я вернулся из поездки домой, и мне подали «Новое время»:

– Прочитай-ка насчет Каштанки.

Заглавие было другое, но я увидел подпись Чехова и прочел эту прекрасную вещицу, напомнившую мне один из проведенных с Антошей Чехонте вечеров... А через год была напечатана «Степь», и я уверовал в талант моего друга...

Шли годы, Чехова «признали». Его приглашали к себе, добивались знакомства с ним. Около него увивались те, кто так недавно еще относился к нему не то снисходительно, не то презрительно: так, сотруди́чек мелкой прессы...

А затем у него началась связь с Художественным театром. Жить стали Чеховы богаче, кончились наши ужины с «чеховским салатом» – картошка, лук и маслины – и чаем с горячими баранками, когда мы слушали виолончель Семашки, молодых певиц и молодого еще певца Тютюника, который, маленький, стоя, бывало, у рояля, своим огромным басом выводил: «...Вот филин замахал крылом» – и в такт плавно махал правой рукой.

Шумно и людно стало теперь у Чеховых...

Иногда все-таки урывались часы для дружеской беседы, и, когда мы оставались вдвоем, без посторонних, – Чехов опять становился моим старым милым Антошей, на которого смотреть было радостно, а среди окружавшего его теперь общества мне всегда бывало как-то жаль его – чувствовалось мне, что и ему не по себе... Недаром он называл сотрудников «Русских ведомостей» – мороженые сиги...

– Ты – курьерский поезд. Остановка – пять минут. Буфет.

Так Чехов сказал мне однажды, еще в те времена, когда он жил в «комоде», в этом маленьком двухэтажном коттедже на Кудринской-Садовой, куда я забегал на часок, возвращаясь из газетных командировок или носясь по Москве в вихре репортерской работы.

Приходят на память эти слова Чехова, когда начинаю писать воспоминания, так непохожие на обычные мемуары. Ведь мемуары – это что-то последовательное, обстоятельное – изо дня в день, из года в год... Их хорошо писать отставным генералам, старым чиновникам, ученым на покое – вообще людям, прожившим до старости на одном месте, на одной службе.

У бродяги мемуаров нет – есть клочок жизни. Клочок там, клочок тут, – связи не ищи... Бродяжническую жизнь моей юности я сменил на обязанности летучего корреспондента и вездесущего столичного репортера. Днем завтракаешь в «Эрмитаже», ночью, добывая материал, бродишь по приотонам Хитрова рынка. Сегодня, по поручению редакции, на генерал-губернаторском рауте пьешь шампанское, а завтра – едешь осматривать задонские зимовники, занесенные снегом табуны, и вот – дымится джулун.

Над костром в котелке кипит баранье сало... Ковш кипящего сала – единственное средство, чтобы не замерзнуть в снежном буране, или, по-донскому, шургане...

Николай Рубинштейн дирижирует в Большом театре на сотом представлении «Демона», присутствует вся Москва в

бриллиантах и фраках, – я описываю обстановку этого торжественного спектакля; а через неделю уже Кавказ, знакомые места, Чертова лестница, заоблачный аул Безенги, а еще выше, под снежной шапкой Коштан-тау, на стремнинах ледяного поля бродят сторожкие туры. А через месяц Питер – встречи в редакциях и на Невском... То столкнешься с Далматовым, то забредешь на Николаевскую, 65, к Николаю Семеновичу Лескову, то в литературном погребеке на Караванной смотришь, как поэт Иванов-Классик мрачно чокается с златокудрым, жизнерадостным Аполлоном Коринфским, и слушаешь, как восторженный и бледный Костя Фофанов, закрыв глаза, декламирует свои чудесные стихи, то у Глеба Успенского на пятом этаже в его квартирке на Васильевском острове, в кругу старых народников рассказываешь эпизоды из своей бродяжной жизни бурлацкой... А там опять курьерский поезд, опять мечешься по Москве, чтобы наверстать прошедшую прогульную неделю...

И так проходила в этих непрерывных метаниях вся жизнь – без остановки на одном месте. Все свои, все друзья, хотя я не принадлежал ни к одной компании, ни к одной партии... У репортера тех дней не было прочных привязанностей, не могло быть... Прочных знакомств летучему корреспонденту тоже не было времени заводить – единственное знакомство у меня в то время, знакомство домами, было с семьей Чехова, да и то до тех пор, пока Чехов не вошел в славу.

Разные были мы с ним люди.



Я долго не мог вспомнить, как и когда началось наше знакомство и где произошла у меня первая встреча с Чеховым. Об этом он мне как-то раз напомнил сам; оказалось, что в эту первую встречу я Чехова и не заметил. Помнил только вторую, в редакции «Будильника», где редактор Н. П. Кичев представил мне симпатичнейшего юношу с заброшенными назад волосами.

– Антоша Чехонте – Дядя Гиляй. Знакомьтесь.

– Мы уже знакомы... Нас познакомил Селецкий, помните?... Вы мне еще чуть руку не сломали.

Я сделал вид, что помню.

С этого дня мы стали встречаться особенно часто в «Будильнике» и «Зрителе» у Всеволода Давыдова. Совсем друзьями сделались. Как-то за столом у меня дома, в случайном разговоре о Русском гимнастическом обществе, он сказал улыбаясь:

– Я тоже член-учредитель Гимнастического общества. Селецкий меня и брата Николая записал в учредители... Так, для счета... Вот там-то мы с тобой, Гиляй, и познакомились. Помнишь?

Так как стесняться было нечего, я сказал откровенно:

– Нет, не помню.

И рассказал Антон Павлович, как его случайно завел Селецкий, тогдашний председатель общества, в гимнастический зал в доме Редлиха на Страстном бульваре.

– Посреди огромного зала две здоровенные фигуры в же-

лезных масках, нагрудниках и огромных перчатках изо всех сил лупят друг друга по голове и по бокам железными поло-сами, так что искры летят – смотреть страшно. Любуюсь на них и думаю, что живу триста лет назад. Кругом на скамьях несколько человек зрителей. Сели и мы. Селецкий сказал, что один из бойцов – Тарасов, первый боец на эскадронах во всей России, преподаватель общества, а другой, в высоких сапогах, его постоянный партнер – поэт Гиляровский. Селецкий меня представил вам обоим, а ты и не поглядел на меня, но зато так руку мне сжал, что я чуть не заплакал.

Чехов с тех пор так и не бывал больше в Гимнастическом обществе, но разговаривали мы о нем впоследствии не раз, а в 90-х годах он даже внес членский взнос и снова стал числиться членом, желая сделать мне, председателю общества, приятное. Привез я ему как-то в Мелихово список членов общества, где и его фамилия была напечатана.

– Ну, какой же я гимнаст! – сказал он, улыбаясь. – Я – человек слабый, современный, а вы с Тарасовым точно из глубины веков выплыли. Тамплиеры! Витязи! Как тогда хлестались вы мечами! Никогда не забуду. А ты и меня в гладиаторы!.. Нет уж, куда мне!.. Да и публика у вас не по мне, – пробежал он глазами по списку членов общества.

– Нет, публика у нас простая – конторщики, приказчики, студенты. Это люди активные, ну, а те вот – Морозовы, Крестовниковы, Смирновы – виноторговцы и еще некоторые – только платят членские взносы.

– Значит, мы мертвые души? Люди настоящего века. А придет время, – может быть, лет через сто, – будут все сильными, будет много таких, как ты и Тарасов... Придет время!..

И несколько лет Антон Павлович числился членом общества, но никогда там не бывал, хотя ценил и любил силу и ловкость в других. Когда я приезжал в Мелихово, то обязательно и он и его отец, Павел Егорович, вели меня к лошадям, пасшимся в леваде, сзади двора, и бывали очень довольны, когда я им показывал какие-нибудь штуки по вольтижировке или джигитовке.

– Знаешь, Гиляй, пробовал я тебя описывать, да ничего не выходит, – говорил мне не раз Антоша. – Не укладываешься ты, все рамки ломаешь. Тебе бы родиться триста лет назад или, может быть, лет сто вперед. Не нашего ты века.

Разные мы с ним были люди, а любили друг друга. Я его, слабого и хрупкого, любил какой-то особой, нежной любовью. И как радостны бывали наши встречи! В юные годы мы очень часто виделись. Раз, в 1882 году, целую неделю вместе работали в окружном суде на деле Скопинского банка – известном процессе, который вел прокурор С. С. Гончаров. Антон Павлович писал заметки об этом процессе в «Петербургской газете» под псевдонимом Рувер.

Много в Скопине воров,  
Погубил их Гончаров! —

острил Чехов.

В 1884 году я женился, наши семьи познакомились. Помню, как-то в субботу, получив в «Русских ведомостях» гонорар за неделю, что-то около ста рублей, я пришел в «Будильник» и там встретил Чехова. На его долю гонорара в «Будильнике» пришлось что-то мало, а я похвастался деньгами.

– Ну так вот – пеки пирог у себя и скажи Марии Ивановне, что мы все придем. И Левитана приведем...

Под влиянием разговоров о Крыме Левитан, найдя на моем столе альбом, сделал в нем во время общей беседы два прекрасных рисунка карандашом: «Море при лунном свете» и «Ветлы». Тотчас после него Николай Павлович Чехов нарисовал в альбоме красным, черным и синим карандашами великолепную женскую головку. Антон Павлович, долго смотревший на художников, сказал:

– Разве так рисуют? Ну, головка! Чья головка? Ну, море! Какое море? Нет, надо рисовать так, чтобы всякому было понятно, что хотел изобразить художник.

Он взял альбом. Рисунок, готовый через несколько минут, был встречен общим хохотом. Антон Павлович, отдавая мне альбом, сказал:

– Береги, Гиляй, это единственное мое художественное произведение: никогда не рисовал и больше никогда рисовать не буду, чтобы не отбивать хлеб у Левитана.

На рисунке изображена была гора, по которой спускается

турист, в шляпе и с палкой, башня, дом с надписью «Трактир», море, по которому плывет пароход, и в небе – птицы; внизу – надпись: «Вид имения „Гурзуф“ Петра Ионыча Губонина», а кроме того, везде были пояснения: «море», «гора», «туристы», «чижи»...

Первые годы в Москве Чеховы жили бедно. Отец служил приказчиком у галантерейщика Гаврилова, Михаил Павлович и Мария Павловна учились еще в гимназии. Мы с женой часто бывали тогда у Чеховых – они жили в маленькой квартире в Головином переулке, на Сретенке. Веселые это были вечера! Все, начиная с ужина, на который подавался почти всегда знаменитый таганрогский картофельный салат с зеленым луком и маслинами, выглядело очень скромно, ни карт, ни танцев никогда не бывало, но все было проникнуто какой-то особой теплотой, сердечностью и радушием. Чуть что похвалишь – на дорогу обязательно завернут в пакет, и отказываться нельзя. Как-то раз в пасхальные дни подали у Чеховых огромную пасху, и жена моя удивилась красоте формы и рисунка. И вот, когда мы собрались уходить, вручили нам большой, тяжелый сверток, который велели развернуть только дома. Оказалось, в свертке – великолепная старинная дубовая пасочница.

Мы с Антоном работали в те времена почти во всех иллюстрированных изданиях: «Свет и тени», «Мирском толке», «Развлечении», «Будильнике», «Москве», «Зрителе», «Стрекозе», «Осколках», «Сверчке». По вечерам часто со-

биралась у Чеховых небольшая кучка жизнерадостных людей: его семейные, юноша-виолончелист Семашко, художники, мой товарищ по сцене Вася Григорьев, когда Великим постом приезжал в Москву на обычный актерский съезд. Мы все любили его пение и интересные рассказы, и Антоша нередко записывал его меткие словечки, а раз даже записал целый рассказ о случае в Тамбове, о собаке, попавшей в цирк. Это и послужило темой для «Каштанки».

В 1885 и 1886 годах я жил с семьей в селе Краскове по Казанской дороге, близ Малаховки. Теперь это густо населенная дачная местность, а тогда несколько крестьянских домов занимали только служащие железной дороги. В те времена Красково пользовалось еще разбойничьей славой, деля ее с соседней деревней Кирилловкой, принадлежавшей когда-то знаменитой Салтычихе. И из Кирилловки и из Краскова много было выслано крестьян за разбои в Сибирь. Под самым Красковым, на реке Пехорке, над глубоким омутом стояла громадная разрушенная мельница, служившая приютом «удалым добрым молодцам». В этом омуте водилась крупная рыба и, между прочим, огромные налимы, ловить которых ухитрялся только Никита Пантюхин, здешний хромой крестьянин, великий мастер этого дела. На ноге у него много лет была какая-то хроническая гниющая рана, которую он лечил, или прикладывая ил из омута и пруда, или засыпая нюхательным табаком. Никита сам делал рыболовные снаряды и, за неимением средств на покупку свинца, упо-

треблял для грузил гайки, которые самым спокойным образом отвинчивал на железнодорожном полотне у рельсов на местах стыка. Что это могло повлечь за собой крушение поезда, ему и на ум не приходило.

Чехов очень интересовался моими рассказами о Краскове и дважды приезжал туда ко мне. Мы подолгу гуляли, осматривали окрестности, заглохшие пруды в старом парке. Об одном пруде, между прочим, ходило предание, что он образовался на месте церкви, провалившейся во время венчания вместе с духовенством и брачующимися. Антон Павлович записал это предание. И вот на берегу этого самого пруда, в зарослях парка, мы встретили Никиту. Он ловил карасей и мазал илом свою ужасную ногу. Антон Павлович осмотрел ногу и прописал какую-то мазь; я ее привез, но Никита отказался употреблять лекарство и заявил:

– Зря деньги не плати, а что мазь эта стоит – лучше мне отдавай деньгами либо табаку нюхательного купи: табак червяка в ноге ест.

Рассказал я Чехову, как Никита гайки отвинчивает, и Антон Павлович долго разговаривал с ним, записывал некоторые выражения. Между прочим, Никита рассказывал, как его за эти гайки водили к уряднику, но все обошлось благополучно.

Антон Павлович старался объяснить Никите, что отвинчивать гайки нельзя, что от этого может произойти крушение, но Никите это было совершенно непонятно. Он только

пожимал в ответ плечами и спокойно возражал:

– Нешто я все гайки-то отвинчиваю? В одном месте одну, в другом – другую... Нешто мы не понимаем, что лъзя, что нельзя?

Никита произвел на Чехова сильное впечатление. Из этой встречи впоследствии и родился рассказ «Злоумышленник». В него вошли и подлинные выражения Никиты, занесенные Чеховым в его знаменитую записную книжку.

Мы жили в доме де Ладвез на Второй Мещанской, в маленькой квартирке в нижнем этаже. В это время был большой спрос на описание жизни трущоб, и я печатал очерк за очерком, для чего приходилось слоняться по Аржановке и Хитровке. Там я заразился: у меня началась рожа на голове и лице, температура поднялась выше 40 градусов. Мой полуторагодовалый сын лежал в скарлатине, должно быть, и ее я тоже принес из трущоб. На счастье, мой друг доктор А. И. Владимиров, только что окончивший университет, безвыходно поселился у меня и помогал жене и няне ухаживать за ребенком. У меня рожа скоро прошла, но тут свалилась в сыпном тифу няня Екатерина Яковлевна – вошь я занес, конечно, тоже с Хитрова рынка... И вот в это самое время случайно забежал ко мне Антон Павлович. Он пришел в ужас и стал укорять нас, что не послали за ним. Осмотрел няню, сына, проглядел рецепты и остался доволен лечением. Тут вернулся Владимиров, и мы все вместе уговорили Антона Павловича не приходить больше в наш очаг заразы. Суровый



Владимиров для убедительности перевел все на профессиональную почву: дескать, лечу я и прошу не мешать. Как будто уговорили. Не прошло, однако, и двух дней, как Антон Павлович явился опять и затем стал заходить и справляться чуть ли не ежедневно. Тогда мы решили не отпирать ему дверей, несмотря на все просьбы, разговаривали с ним сквозь щель, не снимая с двери цепочки.

Антон Павлович подарил мне первый литографированный экземпляр своей пьесы «Иванов», которая была поставлена в бенефис Н. В. Светлова в театре Корша. Вот что об «Иванове» рассказывал мне брат Антоши, Иван Павлович:

– Я носил пьесу в театр Корша. Понравилась. Потом как-то зашел я на репетицию и застал в буфете бенефицианта Светлова и Градова-Соколова. Светлов ругательски ругал пьесу: «Какая это пьеса для бенефиса? Одно название чего стоит – „Иванов“. Кому интересен какой-то Иванов? Никто и не придет». – «Нет, брат, ошибаешься, – возразил Градов-Соколов. – Во-первых, автор – талантливый писатель, а во-вторых, – название самое бенефисное: „Иванов“ или „Иванов“. Каждому „Иванову“ и „Иванову“ будет интересно узнать, что такое про него Чехов написал. И если только одни „Ивановы“ придут – у тебя уж полный сбор обеспечен»...

И действительно, Градов-Соколов предсказал верно.

Когда начался разезд после спектакля – только и слышалось у подъезда:

– Карету Иванова!

– Одиночку Иванова!

– Лихач от Большой Московской с Ивановым!

– Кучер полковника Иванова!..

В 1886 году от Антона Павловича я получил его книжку «Пестрые рассказы», изданные «Осколками». Самую первую свою книжечку, «Сказки Мельпомены», он дал мне еще в 1884 году. Вслед за «Пестрыми рассказами» он напечатал в том же году в типографии братьев Вернер, на Арбате, вторую книгу – «Невинные речи». У Вернеров мы оба работали в издаваемом ими журнале «Сверчок».

Чехов посоветовал и мне собрать и издать свои очерки и рассказы, которых за последние два года, благодаря моему увлечению беллетристикой, накопилось порядочно.

– Кто же мне издаст?

– А Собачий Воротник.

Так Чехов называл младшего Вернера, щеголя, носившего пальто с воротником из какого-то серого меха.

Но Собачий Воротник отказался издать мою книгу, а предложил напечатать ее в кредит. И я напечатал «Трущобные люди».

Ее сожгли. Уцелел лишь один экземпляр, переплетенный из листов, тайком данных мне фактором. Единственный экземпляр моей книги я подарил жене. Близкие знакомые, желавшие прочитать эту запретную книгу, приходили к нам. Пришел и Чехов.

– Ну, конечно, нецензурно. Хоть ты мне бы показал, что

печатать хочешь... Можно было бы что-нибудь сделать. А то уж одно название – «Трущобные люди» – напугало цензуру. Это допустимо было в шестидесятых годах, когда цензоры либеральничали в угоду времени. Ну и дальше заглавия: «Человек и собака», «Обреченные», «Каторга», «Последний удар»... Да разве это теперь возможно?

– Вы подумайте, Антон Павлович, – у жены это любимое слово было, – вы подумайте, как же не напечатать книгу, когда все помещенные в ней очерки были раньше напечатаны?

– В отдельности могли проскочить и заглавия и очерки, а когда все вместе собрано, действительно, получается впечатление беспросветное... Все гибнет, и как гибнет! Мрачно все...

И тут же Чехов утешил нас:

– Ну, да скоро доживем мы до того времени, когда эту книгу Гиляя напечатают, и увидим ее большой успех... А это будет... будет... Идет к тому...

Сожгли мою книгу, и как будто руки отшибло писать беллетристику. Я весь отдался репортерству, изредка, впрочем, писал стихи и рассказы, но далеко уже не с тем жаром, как прежде.

Я увлекся конским спортом – вспомнил юность, степи, табуны. Я отдыхал на скачках, главным образом не на самых скачках, а на утренних работах скаковых лошадей.

Потом начал писать в казенном журнале «Коннозаводство» и московском «Русском спорте», а впоследствии ре-

дактировал «Журнал спорта». Я интересовался только верховыми лошадьми, купеческого рысака я не любил, и метался по степям, по табунам, увлекаясь давно знакомым мне делом.

С Чеховым я встречался все реже и реже... Уже давно кончились наши субботы у меня и воскресенья у Чеховых. Антон Павлович стал идти в гору. «Русские ведомости», которые я почти оставил, стали за ним ухаживать, «Русская мысль» – тоже... А потом – Художественный театр. Но хотя наши встречи и стали реже, они всегда были самые теплые, дружеские и по-прежнему веселые. Вспоминается, например, такой случай.

Как-то часу в седьмом вечера, Великим постом, мы ехали с Антоном Павловичем с Миусской площади из городского училища, где брат его Иван был учителем, ко мне чай пить. Извозчик попался отчаянный: кто казался старше, он ли или его кляча, – определить было трудно, но обоим вместе сто лет насчитывалось наверное; сани убогие, без полоста. На Тверской снег наполовину стаял, и полозья саней то и дело скрежетали по камням мостовой, а иногда, если каменный оазис оказывался довольно большим, кляча останавливалась и долго собиралась с силами, потом опять тащила еле-еле, до новой передышки. наших убеждений извозчик, по-видимому, не слышал и в ответ только улыбался беззубым ртом и шамкал что-то невнятное. На углу Тверской и Страстной площади каменный оазис оказался очень длин-

ным, и мы остановились как раз против освещенной овощной лавки Авдеева, славившейся на всю Москву огурцами в тыквах и солеными арбузами. Пока лошадь отдыхала, мы купили арбуз, завязанный в толстую серую бумагу, которая сейчас же стала промокать, как только Чехов взял арбуз в руки. Мы поползли по Страстной площади, визжа полозьями по рельсам конки и скрежеща по камням. Чехов ругался – мокрые руки замерзли. Я взял у него арбуз.

Действительно, держать его в руках было невозможно, а положить некуда.

Наконец, я не выдержал и сказал, что брошу арбуз.

– Зачем бросать? Вот городской стоит, отдай ему, он съест.

– Пусть ест. Городовой! – поманил я его к себе.

Он, увидав мою форменную фуражку, вытянулся во фронт.

– На, держи, только остор...

Я не успел договорить: «осторожнее, он течет», как Чехов перебил меня на полуслове и трагически зашептал городовому, продолжая мою речь:

– Осторожнее, это бомба... носи ее в участок...

Я сообразил и приказываю:

– Мы там тебя подождем. Да не урони, гляди.

– Понимаю, вашевскродие.

А у самого зубы стучат.

Оставив на углу Тверской и площади городского с «бом-

бой», мы поехали ко мне в Столешников чай пить.

На другой день я узнал подробности всего, вслед за тем происшедшего. Городовой с «бомбой» в руках боязливо добрался до ближайшего дома, вызвал дворника и, рассказав о случае, оставил его вместо себя на посту, а сам осторожно, чуть ступая, двинулся по Тверской к участку, сопровождаемый кучкой любопытных, узнавших от дворника о «бомбе».

Вскоре около участка стояла на почтительном расстоянии толпа, боясь подходить близко и создавая целые легенды на тему о бомбах, весьма животрепещущую в то время благодаря частым покушениям и арестам. Городовой вошел в дежурку, доложил околоточному, что два агента охранного отделения, из которых один был в форме, приказали ему отнести «бомбу». Околоточный притворил дверь и бросился в канцелярию, где так перепугал чиновников, что они разбежались, а пристав сообщил о случае в охранное отделение. Явились агенты, но в дежурку не вошли, ждали офицера, заведовавшего взрывчатыми снарядами, без него в дежурку войти не осмеливались.

В это время во двор въехали пожарные, возвращавшиеся с пожара, увидели толпу, узнали, в чем дело, и старик-брендмейстер, донской казак Беспалов, соскочив с линейки, прямо, как был, весь мокрый, в медной каске, бросился в участок и, несмотря на предупреждения об опасности, направился в дежурку.

Через минуту он обрывал остатки мокрой бумаги с соле-

ного арбуза, а затем, не обращая внимания на протесты пристава и заявления его о неприкосновенности вещественных доказательств, понес арбуз к себе на квартиру.

– Наш, донской, полосатый. Давно такого не едал.

Немало квартир переменили Чеховы, во всех приходилось мне у них бывать. Припоминаю один курьез из тех времен, когда они жили на Большой Якиманке. Пришел я к Чеховым как-то под вечер и нашел Антона ходящим из угла в угол по кабинету: лицо бледное, осунувшееся.

– Что с тобой?

– Живот болит. Завязал шарфом – не помогает, надо радикально лечиться, – и позвал служившего у него мальчика. – Бабакин, сходи в аптеку и купи касторки в капсулях.

Аптека была рядом, и мальчик живо принес касторку. Чехов развернул коробку и со смехом показал мне две огромные капсулы.

– Каковы? За кого они меня приняли? – Он взял перо и крупными буквами написал на коробке: «Я не лошадь».

Бабакин снова отправился в аптеку и на этот раз принес шесть капсулей в коробочке. Аптека получила желанный автограф.

В 80–х годах Антон Павлович купил себе небольшое имение Мелихово в Серпуховском уезде, в двенадцати верстах от станции Лопасня, Курской железной дороги.

Антон Павлович очень любил свой тихий мелиховский уголок, свой «вишневый сад».

Особенно хорошо там бывало ранней весной. Иногда я ездил туда на Пасху, когда съезжались в Мелихово гости и вся патриархальная семья Чеховых была в сборе.

Налево от передней помещался кабинет Антона Павловича с полками книг и письменным столом, на котором всегда лежала папка с начатым рассказом или повестью. Он обыкновенно при гостях работал урывками, но все-таки писал каждый день: напишет немного, потом оторвется от работы, выйдет к гостям поговорить, затем опять садится писать. Иногда во время обеда он внезапно вставал из-за стола, уходил в кабинет, набрасывал несколько строк и, вернувшись в столовую, продолжал застольную беседу. Удивительно легко у него гостилось. Всякий делал, что хотел, никто никому не мешал. И в то время, когда он писал, к нему можно было входить в кабинет, не боясь помешать. Так, по крайней мере, на моей памяти это всегда бывало в Мелихове.

Столовая была рядом с кабинетом. У Антона Павловича имелось свое излюбленное место у конца стола, вблизи от двери в кабинет.

В те времена он не отказывался от рюмки водки и стакана вина и всегда сажал меня рядом с собой и любил сам наливать мне. По правую руку от меня всегда занимал место его отец, Павел Егорович, тоже разделявший нашу компанию. А дальше мать, Евгения Яковлевна, сестра, Мария Павловна, и братья.

Уроженцы Таганрога, они любили южные кушанья, и Ев-



гения Яковлевна мастерски их готовила и любила угощать по-донскому. И настоечка, и наливочка, и пироги – всего бывало всегда вволю. А уезжающим в Москву обязательно заворачивали чего-нибудь вкусного на дорогу.

С восторгом я вспоминаю о Мелихове. Это, кажется, лучшее время из жизни Чехова. Здоровье его тогда находилось еще в сравнительно хорошем состоянии, был он жизнерадостен, любил природу. Да и задумываться было некогда: литературная работа, хозяйство, сад, в котором Антон Павлович всегда копался, занимаясь посадками, а потом вечная толпа баб и мужиков, приходивших к своему «дохтуру» с разными болезнями. И всегда – гости и гости.

Когда последних съезжалось слишком много, а особенно «дамского сословия», мы, своя компания, с Антоном Павловичем во главе, переселялись в баню. Впрочем, ее только называли баней. В действительности там при бане было несколько комнат, прекрасно обставленных, с кроватями и диванами. Славно время проводили мы там – и наливочка, и чаек, и разговоры да чтения с вечера до утра.

Кто– то из братьев Чеховых имел фотографический аппарат, снимал виды и группы. И вот однажды ранней весной, только что снег сошел, мы гуляли в саду, Антон Павлович обратился ко мне:

– Гиляй, я устал, покатай меня на тачке! – и сел в тачку. Туда же поместился его брат Миша, бывший тогда еще гимназистом, а когда я привез их к дому, то пожелали снять фо-

тографию. Кроме нас трех, на группе – Иван Павлович Чехов и двоюродный брат Антона Павловича – Алеша Чехов.

Я частенько наезжал в Мелихово. Иногда Антоша вызывал меня письмами. Вот одно из них, случайно уцелевшая открытка:

«Москва. Столешников, дом Корзинкина. Вл. Ал. Гиляровскому. Хочешь, чтобы тебя забыли друзья? Купи имение и поселись в нем. Потяни, Гиляй, за хвостик свою память и вспомни о поздравляющем тебя литераторе Чехове. Христос воскрес! Твой А. Чехов. Мелихово.

Р. S. Лошади теперь хорошие. Приезжай».

Помню, раз, должно быть в 900-м году, напечатал я фельетон о выступлении декадентов в Художественном кружке и их жестоко вышутил. Заглавие фельетона было «Люди четвертого измерения». В ответ я получил от Чехова такую открытку:

«Милый дядя Гиляй, твои „Люди четвертого измерения“ великолепны, я читал и все время смеялся. Молодец, дядя! После 20 апреля буду в Москве. Крепко жму твою ручищу. Твой А. Чехов. 23 марта 1900 г.».

Помню, что я ответил ему тогда открыткой с такими стихами:

Каламбуром не избитым  
Удружу – не будь уж в гневе:  
Ты в Крыму страдал плевритом,  
Мы на севере – от Плеве.

Когда приехал Чехов в Москву, я спросил его, получил ли он открытку. Оказалось – нет. Я ему повторил стихи.

– Ну вот, ты напиши-ка мне их, а открытка твоя, наверное, пригвождена к делу приставом Гвоздевичем...

Как– то мы завтракали вдвоем с Антоном Павловичем в «Славянском базаре». Он зимой приехал в Москву из Ялты.

– Ты помнишь Епифанова? – спросил Чехов меня. – Сценки писал...

– Ну да, Сережу... Алкоголик, бедняга...

– Наткнулся я на него в Ялте в больнице за несколько дней до смерти. Носил ему гостинцев... Всему он радовался... Вспоминали старых товарищей, Москву, трактиры... Когда заговорил я о тебе, он только два слова сказал: «Было попито!»

Я тут же рассказал один случай с Епифановым, который очень понравился Чехову, и он взял с меня слово, что я его обязательно напечатаю. Это был уже блеск его славы, и мелочей он не писал. Я дал ему слово – и забыл.

Мы сидели как-то в редакции «Московского листка», где Н. И. Пастухов, по обыкновению в расстегнутом халате и в туфлях, рассматривал за письменным столом принесенный репортерами материал. Сережа Епифанов, небесталанный поэт и автор сенок, принес уличную картинку о том, как толпа в самый Новый год собралась на Цветном бульваре около лежавшего на снегу замерзшего попугая, прекрасно-

го белого какаду. Епифанов рассказывал, что в Москве появились попугаи, живут они на бульварах, все это в смешной форме. Пастухов прочел сценку и сказал: «Не пойдет! Ты вот найди, откуда это попугай взялся и как он на бульвар попал, тогда пойдет!» – «Это невозможно, Николай Иванович». – «Какой же ты после этого репортер выходишь? Может, сам нашел на помойке дохлую птицу и подкинул ее, чтобы сценку написать? Вон Гиляй с Вашковым купили на две копейки грешников у разносчика, бросили их в Патриарший пруд, народ собрали и написали сценку „Грешники в Патриаршем пруде“. Там хоть смешно было... А это что? Сдох попугай, а ты сценку в сто строк. Вот найди теперь, откуда птица на бульвар попала. Эх, ты, строчило-мученик!»

Пастухов встал и ушел.

На углу Петровки и Рахмановского переулка, в доме Левенсона, над трактиром Зверева помещались тогда мебелированные «Надежда», которые были населены главным образом проститутками из средних, мелкими служащими и актерами. В те времена, когда Пастухов послал Епифанова разыскивать попугая, в самом лучшем из номеров «Надежды» жил некто Кондратьев, красивый высокий блондин с огромными выхоленными усами. Он рекомендовался всем как отставной офицер, но, судя по его языку, уж слишком упрощенному, этому верить было трудно. Известно только было, что он жил картежной игрой и бильярдом и был завсегдатаем бильярдного трактира Саврасенкова близ памятника Пушкину. Эта

бильярдная, занимавшая два зала, с лучшими фрейберговскими бильярдами, служила в Москве самым крупным притоном для шулеров. Игра происходила на деньги, причем публика, теснившаяся по длинным диванам вдоль стен, держала иногда крупные суммы за игроков-шулеров, и спуск шел вовсю. Играли здесь знаменитости того времени: Пискун, Соломон, Шулькевич, Голиаф, Малинин и, не последний среди них, Кондратьев. Играл еще маляр Кирюша, умевший показывать такую игру, что у шулеров выигрывал партии.

Из редакции «Листка» после отповеди Пастухова мы с Епифановым вышли очень огорченные, и я повел его к Саврасенкову утешать графинчиком водки с приличной закуской. Мы сели на большой диван, как раз против бильярда, где велась игра. К нам подсел великан, игрок Голиаф, которого я давно знал, и, указывая на игравших, сказал:

– Вот Малинин, что он вчера с Кондратьевым сделал – смехота!

– А что?

– Уж и не говорите. У Кондратьева на празднике деньжонки завелись, ну, Васька к нему и подмазался и прямо отсюда, это третьего дня было, к нему в гости навязался. Выпили в номере чайку, водочки вдвоем, а потом ему Малинин банчишко заложил один на один. Игра шла начистоту. Играли долго. Под утро Малинин все деньги у него выиграл, часы, портсигар, а тот зарвался, из себя вон лезет. А Васька

ему: «Хочешь на попугая?» А в комнате у него белый попугай любимый жил. «Да на что он мне? Ну, изволь, согласен». Долго ли, коротко играли, Кондратьев и попугая проиграл. «Получай, твой попугай! Хочешь на собаку? У меня пойнтер есть ланских кровей, цены нет». – «Где же он?» – «Да внизу в швейцарской, в номере держать нельзя, хочешь за триста рублей?» – «Ладно, давай и кобеля!» Кондратьев вышел из номера за собакой, а Малинин взял попугая из клетки да и выкинул его через форточку на улицу, а сам надел шубу и наутек. «Куда же ты?» – «Не могу, домой пора». И ушел. Сейчас вот Малинин все это нам и рассказывал. Кондратьев за ним бегаёт, плачет: «Отдай попугая, я без него жить не могу», а он уж сдох давно, на Цветном бульваре ребята его таскали замерзлого.

Это была удача! Епифанов подробно описал всю рассказанную нам историю, принес Пастухову и получил за это 25 рублей и теплое пальто в подарок.

В пятом томе писем А. Чехова есть письмо от 25 ноября 1899 года Горькому из Ялты:

«Здесь, в приюте для хроников, в одиночестве, в забросе умер поэт „Развлечения“ Епифанов, который за два дня до смерти попросил яблочной пастилы, и когда я принес ему, то он вдруг оживился и зашипел своим больным горлом, радостно: „Вот эта самая! Она!“ Точно землячку увидел».

Я прочел это письмо в собрании писем, изданных Марией Павловной, вспомнил данное слово и написал то, что рас-

сказывал когда-то Антону Павловичу об Епифанове.

«Над дорогой с веселым криком носились старички, в траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное брочкой, вспорхнуло и со своим мягким „тррр“ полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затаили в траве свою скрипучую, монотонную музыку...»

С такой любовью описывает Антон Павлович утро в степи.

А дальше день, знойный июльский день:

«Как душно и уныло! Брочка бежит, а Егорушка видит все одно и то же – небо, равнину, холмы... Музыка в траве притихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой, от нечего делать, носятся грачи; все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной... Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник; вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла...»

Славно удалось его первое большое произведение «Степь»!

Не та буйная казацкая, гоголевская степь с ее налетами запорожцев, а тихая, спокойная степь времена его детства и юности.

Антон Павлович – степняк прирожденный, от прадедов. Когда вышла его «Степь», я много беседовал с ним о степях, которые сам страстно люблю. В этих беседах принимал уча-

стие и его отец.

Из рассказов Павла Егоровича и его детей я узнал и родословную Чеховых.

Дед Антона Павловича, Егор Михайлович Чех, принадлежал к крепостным знаменитого донца графа Платова. Почему прозвание его было Чех, так и осталось неизвестным. Он жил и работал в степных слободах Крепкой и Княжой, заработал достаточно денег, чтобы выкупиться на волю, что и сделал. Дети у него были уже свободны – три сына: Михаил, Павел и Митрофан.

Михаил, старший, был отцом отдан в ученье в переплетчики в Калугу, где скоро получил известность, как лучший мастер. Он назывался не Чехов, а Чохов. Своему отцу он прислал подарок – весьма сложно сделанную шкатулку со следующей надписью: «Примите, дражайший родитель, плод усердного труда моего». Шкатулкой этой очень дорожил Антон Павлович.

Митрофан Егорович открыл бакалейную торговлю в Таганроге. После него остались два сына: Владимир, учительствовавший в Таганроге, и Егор, служивший в Русском обществе пароходства и торговли. Это был любимец Антона Павловича, который звал его «Жоржик». Я бывал в Ялте у Антона Павловича, встречал у него Егора Митрофановича.

Павел Егорович, отец Антона Павловича, начал свою молодость трудной работой прасола. Он гонял скот – и красный калмыцкий и серый украинский – в Москву, в Харьков



и другие большие города. Во время путешествия с гуртами, где верхом, где пешком, он попал в Шую и там высмотрел себе невесту. Это и была Евгения Яковлевна. Она урожденная Морозова, дочь купца.

Женившись, Павел Егорович задумал переменить полную приключений кочевую жизнь прасола на оседлую и открыл в Таганроге, по примеру брата, колониальную лавочку.

Дети Михаила Чехова все были коммерсанты.

Дети Павла Егоровича: покойный Николай – был весьма талантливый художник, Антон, Александр и Михаил – писатели, Иван – учитель, Мария – художница-пейзажистка. Павел Егорович, став коммерческим человеком, все-таки не утратил той поэтической жилки, которую заставила забиться в груди его степная прасольская жизнь.

Много раз я беседовал с Павлом Егоровичем. Холодный, расчетливый практик исчезал, и предо мной вставал совершенно другой человек, полный поэзии, когда разговор переходил на степь, на привольную жизнь, на табуны, на казачество. Молодел и изменялся Павел Егорович.

В том же Мелихове, бывало, когда я возвращался на север из моих частых поездок по южнорусским степям, разговоримся мы, заслушается, оживится старик и предложит:

– Пойдемте-ка, я вам наших лошадок покажу.

– Вот садитесь-ка на эту, проезжайте – как идет! Только что с Дона привели! – И начнет расписывать достоинства лошадки, заглянет в старину и скажет: – Эх, бывало, и я ко-

гда-то ездоком был!

А то еще у него увлечение было – скрипка.

Вспоминал он иногда и некоторые строки Кольцова.

Видно, что поэзия степной жизни, глубоко вкоренившаяся в юности, и любовь к степи, переданная сыну, таились в душе его и, хотя изредка, все-таки пробивались сквозь толстую, наносную, многолетнюю кору практической жизни и борьбы с нуждой.

А нуждаться ему приходилось в прежние годы. Торговля в Таганроге шла неважно. Надо было подыскивать еще заработки. И тут-то вот скрипка, знание музыки и хороший голос создали новую профессию Павлу Егоровичу...

На родной сестре Евгении Яковлевны, Федосье Яковлевне, был женат друг и товарищ Павла Егоровича, А. Б. Долженко, начавший свою деятельность такими же степными путешествиями по России за скупкой холста и разных крестьянских изделий. Бывали оба они в Шуе и женились на родных сестрах. А. Б. Долженко потом завел мануфактурную торговлю в Таганроге, был большой любитель духовного пения и на этом сошелся с Павлом Егоровичем. Сначала они пели в греческом монастыре, потом во дворце, в походной церкви и в соборе. Павел Егорович обучал хор под скрипку и был регентом.

Это давало почетное положение в городе, а хор его приезжали слушать даже из Ростова и других городов.

В хоре пели все дети Чехова и сын А. Б. Долженко, Алек-

сей, до настоящего времени один из друзей семьи Чехова, сверстник младших. Александр Павлович, старший, пел сначала дискантом, потом басом; Николай, хороший скрипач, помогал отцу и особенно много пел, что отразилось на его здоровье и, возможно, послужило причиной его болезни, Антон пел альтом.

Семья жила очень дружно. Антон Павлович был смиреннее всех. У него была очень большая голова, и его звали «Бомбой», за что он сердился. Любимым занятием Антона было составление коллекций насекомых и игра в торговлю, причем он еще ребенком мастерски считал на счетах. Все думали, что из него выйдет коммерсант.

В том, что Антон Павлович сделался писателем, мы многим обязаны его матери, Евгении Яковлевне, а также и тому, что коммерческие дела отца его в Таганроге шли плохо. Старшие дети учились, Александр был уже в четвертом классе гимназии, когда приспело время отдавать учиться Антона...

В «Степи» Чехова отец Христофор разговаривает с купцом Кузьмичевым. Первый стоит за учение и приводит в пример Ломоносова:

– Умственность, принимаемая с верой, дает плоды, богу угодные.

А Кузьмичев отвечает:

– Кому наука в пользу, а у кого ум путается. Сестра – женщина непонимающая, норовит все по-благородному и хочет,

чтоб из Егорки ученый вышел, а того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку навек осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают.

– А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учение постигать!

Вероятно, подобные разговоры происходили когда-то среди окружавших Антона Павловича в детстве.

Когда Антон был в четвертом классе, а Александр в восьмом, отец открыл новую лавку около вокзала, надеясь на наплыв публики.

И время каникул у обоих прошло в лавке. Единственным отдыхом было посидеть вечером на крылечке и послушать отдаленную музыку, доносившуюся из городского сада.

Покупатели были большей частью беднота, а торговцы-гимназисты обладали добрым сердцем, и в результате вместо барыша оказался убыток. Лавка была закрыта.

Антон снова очутился в гимназии. Николай и Александр были отправлены в столицу, первый – в Московское училище живописи и ваяния, второй – в университет.

Торговые дела Павла Егоровича шли все хуже. А тут еще домовладелец Моисеев плату за квартиру и лавку с четырехсот рублей в год возвысил до восьмисот. Это была последняя капля – и Чеховы, закрыв торговлю, переселились в Москву.

Здесь начали учиться младшие дети, Мария и Михаил, а

вскоре приехал из Таганрога доучившийся там в гимназии Антон и поступил в университет, а затем стал сотрудничать в юмористических журналах.

Любил я чеховскую компанию, когда они жили в «комоде». Удивительно был похож на комод этот двухэтажный флигелек – он и сейчас такой же – на Кудринской-Садовой; он принадлежал тогда земляку Чехова, доктору Карнееву, донскому казаку. Вверху помещались столовая и комнаты для семьи, внизу – большой кабинет Антона Павловича, в который сверху была устроена внутренняя лестница: прямо из столовой. Тогда я очень много разъезжал в разных командировках, то на холеру, то на чуму в Астраханские пустыни, то на разные катастрофы, то в Задонские степи по делам табунного коневодства, в казачьи зимовки и калмыцкие улусы. И только налетом, возвращаясь в Москву, мог видеть я моего друга; и каждая встреча наша была взаимно радостна.

В один из таких приездов влетел я к Антону в кабинет. Он по обыкновению за письменным столом сидит.

– Откуда? – улыбнулся он, и глаза его засияли.

– Да отовсюду: с Волги, с Дона, с Кубанских плавней, с Терских гребней.

– Как ты загорел! Совсем чугунный. Ну, садись! Рассказывай!

– Вот тебе гостинец из родных краев – копченый гусь, сало, две бутылки цимлянского с Дона да шемайка вяленая с Терека.

Весь стол у Антона был обложен аккуратно связанными пачками конвертов с сохранившимися еще на них пятью сургучными печатями – денежных, со стола он перекладывал их на полку.

– Архив перебираю, – пояснил он мне. – Все редакционные дела. Вот «Осколки», вот «Стрекоза», вот «Петербургская газета»... Память о прожитых богатствах.

И он начал разворачивать мой кулек.

– А, с Дону, родное, степь-матушка!

Я тихо, бережно пожал ему руку, он улыбнулся.

– Эх, ты! Ну, рассказывай...

Не успел я рта разинуть, как сверху сбежал юноша в студенческом мундире – Н. Е. Эфрос... А из прихожей появились Семашко с виолончелью и певец Тютюник. Поздоровались, начали любоваться гостинцами. Эфрос почти тотчас же простился и убежал. Сверху послышался крик Марии Павловны:

– Антоша, завтрак готов!

– Несите все на стол! – обратился Антон Павлович к нам. – Вы, Семашко, рыбу, гуся и сало, а вы, певец, вино. Мы сейчас придем есть.

Они ушли наверх. Вдруг раздался звонок, вошла горничная.

– Антон Павлович, вас портной спрашивает.

– Глебов? Белоусов?

– Нет, не Федор Глебыч и не Иван Алексеич, а другой ка-

кой-то, с бородой и с узлом.

– Гиляй, милый, посмотри и, если чужой кто, скажи, что меня дома нет.

Я вышел в переднюю. У двери смиренно стоял в скромном драповом пальто бородатый мужчина, под мышкой у него был узел в черном коленкоре, в каком портные заказы приносят.

– Владимир Галактионыч! Вот не узнал... Из Нижнего? Ну, раздевайтесь!

– Да, вчера приехал.

– Антоша, Короленко пришел! – закричал я.

Только что мы уселись в кабинете, как раздался голос Евгении Яковлевны сверху:

– Антоша, кабачки остынут!

Пришлось прервать беседу и идти наверх, в столовую.

И почти всегда так бывало: когда ни придешь, постоянно народу у Чеховых труба не толченая. Он уже начал входить в моду. Начался тот период, о котором так много писали, а я здесь описываю только мои личные впечатления, вспоминаю то время, когда мы – Гиляй и Антоша Чехонте – были близки. И хотя до конца жизни он остался для меня Антошей, а я для него Гиляем, прежней близости, когда Чехов «вошел в моду», уже не стало – слишком редки были встречи вдвоем.

Здоровье Антона Павловича становилось все хуже и хуже. Я изредка навещал его в Ялте. Приехал я как-то раз очень усталый от довольно бурно проведенного времени и норд-

оста, потрепавшего нас между Новороссийском и Ялтой. Тогда у меня, чего никогда еще не бывало, появился тик, нервное подергивание лица и шеи.

– Это что тебя дергает? Это что еще за глупости? Как не стыдно, ты, витязь, премированный за атлетику! – начал упрекать меня Чехов.

Меня опять дернуло.

– Оставь, будь умным! Ты думаешь, что лучше будет, если ты так головой мотнешь? – И он точь-в-точь повторил мое движение с сердитым взглядом. Первый раз в жизни я увидел у него такие глаза. – Ничего от твоего дерганья на свете лучше не будет, все как было, так и останется... Брось, не смей!

И, погрозив сердито пальцем, он сразу изменил тон и показал мне в окно на невзрачного человека, копошившегося около клумбы.

– Это наш Бабакай. Пойдем в сад, и ты мне скажи экспромт о Бабакае.

Я сочинил какие-то четыре строчки, из которых помню теперь только последнюю: «И какой-то Бабакай».

– Ну вот, теперь напиши это на косяке, – мы спускались в это время вниз по лестнице.

Я написал. Антон Павлович прочел.

– Это я с тебя стихами докторский гонорар взял за то, что от глупой привычки вылечил. Понял ты, что дергаться не надо, от этого никому ни лучше, ни хуже не будет, и перестань.



– Верю и не буду.

– Да, вот... Ты думаешь, я плохой доктор? Полицейская Москва меня признает за доктора, а не за писателя, значит – я доктор. Во «Все́й Москве» напечатано: «Чехов Антон Павлович. Малая Дмитровка. Дом Шишкова. Практикующий врач». Так и написано: не писатель, а врач, – значит, верь!

И я поверил и больше ни разу не дернулся до сего времени.

Мы сидели на лавочке в саду, а Бабакай рылся в клумбе. У меня был «Кодак», я снял несколько раз Антона, Бабакаю, дачу, Антон меня снял. Подошла Мария Павловна, – сняли и ее. Одна только ее карточка и вышла хорошо. Это единственный раз, когда Антон Чехов был фотографом. Подошел Бабакай.

– Антон Павлович, какие-то бабы из города в шляпках приходили, я сказал, что вас нет.

– Хорошо, Бабакай! Это он городских дам называет бабами, отбою от них нет, – пояснил мне Чехов.

– Судьба твоя такая. Без баб тебе, видно, не суждено. Ты подумай, сам говоришь: «От баб отбою нет». Служит у тебя Бабакай... Под Новым Иерусалимом ты жил в Бабкине, и мальчик у тебя был Бабкин... И сапоги мы с тобой покупали у Бабурина.

– Да, я и не подумал об этом, все баб... баб... баб... кругом! – рассмеялся он.

– Нет, еще не совсем кругом, а только что вначале баб. А чтоб завершить круг, ты вот на этой самой клумбе, которую копает Бабакай, посади баобаб.

В ответ Антоша со смехом вынул кошелек, порылся в нем и подал мне две запонки для манжет.

– Вот тебе за это гонорар. На память о баобабе... Обязательно посажу баобаб и выпишу его через Бабельмандебский пролив... Бабельмандебский!

Он опять расхохотался.

– Гиляй, знаешь что, – заключил он, – оставайся у меня жить. С тобой и умирать некогда.

А как любил Чехов степи! Они были постоянно темой наших разговоров, когда мы оставались вдвоем, и оба мы на этих воспоминаниях отдыхали от суеты столичной...

Еще в начале нашего знакомства он с удовольствием выслушивал мои стихи про Стеньку Разина, про запорожцев, которые еще тогда напечатаны не были.

Я уже говорил о том впечатлении, которое произвела на меня «Степь», напечатанная впервые в «Северном вестнике» в конце 80-х годов. При первой же встрече я высказал Чехову свой восторг:

– Прелесть! Ведь это же настоящая, настоящая степь! Прямо дышишь степью, когда читаешь.

– Скучно тебе было читать, скажи по совести!

– Тихо все, читаешь, будто сам в телеге едешь, тихо-тихо едешь.

– Вот оттого-то она и скучна тебе, так и быть должно. Моя степь – не твоя степь. Ведь ты же опоздал родиться на триста лет... В те времена ты бы ватаги буйные по степи водил, и весело б тебе было. Опоздал родиться...

Он засмеялся. А потом задумался и, глядя мне в глаза, медленно проговорил:

– Будет еще и твоя степь. И ватаги буйные будут. Все повторится, что было... Только мы с тобой не доживем до этого. А будет, будет это... И Гонты, и Гордиенки, и Стеньки Разины будут... Все будет... И шире и грознее еще разгуляется. Корка вверху лопнет, и польется; ведь в каждой станице таится свой Стенька Разин, в каждой деревне свой Пугачев найдется... Сорвется с цепи – а за ним все стаей, стаей...

Повторение этого разговора было у нас опять в Ялте, через несколько лет, когда я возвращался из «Нового света» – знаменитого голицынского виноделия. Антон Павлович был один – он да Евгения Яковлевна. Остальные все разъехались. Он чувствовал себя в этот день очень хорошо, мы опять гуляли по саду и разговаривали в кабинете перед открытым окном, глядя на море.

– Твои герои – в прошлом, сильные, могучие, с порывами; а мои нынешние все кислота, киснут и скулят; как ты выражаешься – чеховщина.

Он надолго закашлялся.

– Да ведь так гнить без конца нельзя... Гниет болото, гниет да и высохнет... И запылает от искорки торф в глубине и

лес наверху. Только после нас это будет. Не вовремя ты родился. Или опоздал на триста лет, или раньше явился на сто. Помнишь, у тебя стихи. Я забыл. Как это?

– Какие?

– Идут полки... Бунчуки стали... кто гол... кто в бархате... атаман... усища... Всю картину вижу, а стихов не помню.

– Изволь:

Идет казацкой силы рать...  
Все ближе... ближе... Слышны крики,  
Видны отдельные полки,  
Звенят подковы, блещут пики,  
Горят на солнце бунчуки.  
На том папаха,  
Из черна соболя окол,  
На этом рваная рубаха,  
На этом бархат, этот гол,  
И лишь полгруды закрывают  
Усы...

– Вот... вот... Именно такие... Все будет, все будет... через сто лет.

Он вытянул руку к окну, к морю:

– Гляди! Вот твои запорожцы летят на чайках – прямо на гостиницу «Россия»! Вот ватаги с горы толпами прут, топоры сверкают. Слышишь, гудит?...

– Антоша, завтракать! – вошла Евгения Яковлевна.

Он сразу поник, опустил руку и обернулся ко мне:

– Идем.

Мы вышли из комнаты вслед за Евгенией Яковлевной.

«Так– то, Гиляюшка, все будет, все будет, только мы с тобой не увидим...» – еще звучало у меня в ушах.

В последний раз я видел Чехова почти накануне его отъезда за границу. Я вернулся с юга, и дома мне сказали, что Антон Павлович очень плох, хотел меня видеть и что доктора его увозят из России. Переодевшись, я тотчас отправился к нему, на четвертый этаж дома Полякова, № 22, по Леонтьевскому переулку. Только я протянул руку к звонку, как дверь сама навстречу мне отворилась и вышел доктор Ю. Р. Таубе.

– Ну вот и хорошо, Владимир Алексеевич, что вы приехали, Антон Павлович вспоминал вас, обрадуется.

– Каков он?

– Слаб. Послезавтра за границу.

На шум вышла в прихожую Ольга Леонардовна с очень суровым лицом, но при виде меня сразу прояснилась:

– Я испугалась, думала, чужой кто. Идите, Антоша рад будет вам...

Мы тихо подошли к кабинету. Сквозь полуотворенную дверь я увидел Антона Павловича. Он сидел на турецком диване с ногами. Лицо у него было осунувшееся, восковое... и руки тоже... Услышав шаги, он поднял голову... Один мо-

мент – и три выражения: суровое, усталое, удивленное – и веселые глаза. Радостная Антошина улыбка, которой я давно не видел у него.

– Гиляй, милый, садись на диван! – И он отодвинул ноги вглубь.

– Владимир Алексеевич, вы посидите, а я на полчаса вас покину, – обратилась ко мне Ольга Леонардовна.

– Да я его не отпущу! Гиляй, какой портвейн у меня! Три бутылки!

Я взял в свою руку его похудевшую руку – горячую, сухую.

– А ну-ка пожми! Помнишь, как тогда... А табакерка твоя где?

– Вот она.

Он взял ее, погладил, как это всегда делал, по крышке и поднес ее близко к носу.

– С донничком? Степью пахнет донник. Ты оттуда?

– Из Задонья, из табунов.

– И неуков<sup>1</sup> объезжал?

– И неуков объезжал, и каймак<sup>2</sup> ел, и цимлу пил, и выморозки<sup>3</sup>...

– Хорошо там у нас... Наши платовские целинные степи!

Он задумался.

---

<sup>1</sup> Неук – необъезженная лошадь, не ходившая еще ни в упряжи, ни под верхом.

<sup>2</sup> Каймак – особым способом приготовленные сливки с топленого молока.

<sup>3</sup> Цимла – цимлянское вино. Выморозки – крепкое виноградное вино, из которого вода удалена вымораживанием.

– А я вот за границу еду, да... за границу...

– Прекрасно, а как вернешься, в степи тебя повезу, в табуны.

– Ах, степи, степи!.. Вот ты счастливец... Ты там поэзии и силы набираешься. Бронзовый весь, не то, что мы. Только помни: водку пей до пятидесяти лет, а потом не смей, на пиво переходи.

Я долго ему рассказывал о табунах, о калмыцком хуруле<sup>4</sup>, о каторжной работе табунщиков зимой в голодовку да в шурганы<sup>5</sup>, когда по суткам с коня не слезаешь, чтоб табун головой против ветра держать... а он слушал, слушал, сначала все крутил ус, а потом рука опустилась, глаза устремились куда-то вдаль... задумчивые и радостные... Думаю, степь увидал.

– Допивай портвейн, там в шкафу еще две бутылки... Хороший портвейн... Только твоя сливянка да запеканка домашняя лучше. Кланяйся Марии Ивановне да скажи, что приеду обязательно ее наливки пить... Помнишь, тогда... Левитан, Николай, опенки в уксусе...

И Антон Павлович с блаженной улыбкой закрыл глаза и опустил голову на подушку:

– Я так, минутку... не уходи, пей...

И задремал. За все время нашей беседы он ни разу не кашлянул. Я смотрел на осунувшееся милое лицо, спокой-

---

<sup>4</sup> Хурул – монгольский храм.

<sup>5</sup> Шурган – метель, буран.

ное-спокойное, на неподвижно лежавшие желтые руки с синими жилками и думал:

«Нет, Антоша, не пивать тебе больше у меня сливянки, не видать тебе своих донских степей, целинных, платовских, так прекрасно тобой описанных»...

Кольшется живая площадь красными знаменами, красными платочками, красными майками. А среди этого красного, ритмически волнующегося моря вкраплены яркие зеленые, оранжевые и голубые пятна и полосы.

Послушная звукам оркестра, стройно движется демонстрация. Тысячи рук с рельефными мышцами сверкают и золотятся живой бронзой на солнце, опускаются и снова вырастают из цветных маек. Тысячи оживленных глаз и здоровых румяных лиц глядят весело и уверенно.

Шаг уверен, ярок, смел.  
Звучит ритмично мостовая,  
И бронза загорелых тел  
Горит на солнце, как живая.

– Все люди будут сильными! – сказал мне в одну из бесед А. П. Чехов.

– «Все люди будут сильными», – глядя на демонстрацию, повторил я слова Чехова.

В восторге смотрел я на эту полную сил и жизни молодежь, на стройные ряды загорелых ребятишек, радостным и звонким строем уверенно шагающих за своими старшими



товарищами. На лицах у всех написано:

«Мы – сильные!»

И теперь, когда я заканчиваю эти строки, мое восьмидесятилетнее сердце болит о друге юных дней, и мне думается, будь он жив, встретив такой праздник молодежи, он, автор «Хмурых людей», написал бы книгу: «Жизнерадостные люди».